Между актов

Автор:
Вирджиния Вулф

Между актов

Вирджиния Вулф

Имя выдающейся английской писательницы Вирджинии Вулф давно и заслуженно стоит в ряду с такими классиками европейской литературы, как Лоуренс, Хаксли и Джойс. Она была утонченной, эрудированной, остроумной, эмоциональной, и все эти свойства натуры писательницы отразились в ее творчестве.

Вирджиния Вулф

Между актов

Рукопись этой книги была завершена, но не окончательно подготовлена к печати, когда умерла Вирджиния Вулф. Я думаю, никаких существенных поправок автор бы в нее не внес, но мог бы внести ряд малких исправлений.

Леонард Вулф

* * *

Летним вечером, под шелест сада в открытых окнах, в гостиной обсуждали сточную трубу Муниципалитет обещал провести сюда воду, и хоть бы кто палец о палец ударил.

Миссис Хейнз, жена помещика, занятого хозяйством, дама с физиономией гусыни и глазками выпученными, будто ей явился домовой, вскричала с чувством:

– Ну и тема для разговора в такой вечер!

Все примолкли; и кашлянула корова; и дала даме повод заметить – как странно, в детстве она коров ну нисколечко не боялась, исключительно лошадей. Да, но ведь когда она была совершенная кроха, громадный ломовик прогрохотал прямо у самой колясочки. Их род, сообщила она старику в кресле, жил близ Лискерда веками. Памятники на кладбище вам это докажут.

Во тьме хохотнула птица.

– Соловей? – встрепенулась миссис Хейнз. Но нет, соловьи так далеко на север не залетают. Это дневная какая-то птица, вспомнив роскошества дня, червяков, улиток и зернышки, хохотнула во сне.

Старик в кресле – мистер Оливер, из Индийской государственной службы, в отставке, – сказал, что место для сточной трубы выбрано, если он верно расслышал, на Римской дороге. С аэроплана, он сказал, еще явственно видны шрамы, оставленные бриттами; римлянами; елизаветинской усадьбой; и плугом, которым бороздили холм, чтобы растить пшеницу во время наполеоновских войн.

– Но вы же не можете помнить… – не утерпела миссис Хейнз. О, разумеется. Но зато он помнит – и уже он взялся ей рассказывать, что именно, но послышался шорох за дверью, и Айза, жена его сына, вошла – волосы косами, капотик в линялых павлинах. Вошла, как лебедь плывет по воде; вдруг запнулась, остановилась; не ожидала увидеть людей; и что свет горит. С сыночком сидела, она извинилась, что-то он кукситься. И о чем тут у них разговор?

– Да вот, сточную трубу обсуждаем, – сказал мистер Оливер.

– Ну и тема для разговора в такой вечер! – вскричала снова миссис Хейнз.

А он — что он думает про сточную трубу; и вообще? – гадала Айза, кивая помещику, Руперту Хейнзу. Они виделись как-то на благотворительном базаре; на теннисе. Он подал ей чашку, подал ракетку – и все. Но в этом усталом лице ей чудилась загадка; а в молчании – страстность. И на теннисе чудилась, и на благотворительном базаре. Теперь, в третий раз, опять почудилась, и, пожалуй, еще настойчивей.

– Да, помню, – старик перебил, – моя мама… – О своей маме он помнил, что она была статная; держала чайницу под замком; но зато в этой самой комнате вручила ему томик Байрона. Да, тому уж больше шестидесяти лет, он им сообщил, мама ему вручила Байрона вот в этой самой комнате. Он помолчал.

– «Она идет в красе своей…» – продекламировал он[1 - Первая строка из первого стихотворения цикла «Еврейские мелодии» Дж. Г. Байрона (пер. С. Маршака).].

И опять:

– «Не бродить нам вечер целый под луной вдвоем[2 - Стихотворение Дж. Г. Байрона (пер. С. Маршака).]».

Айза подняла голову. От слов разошлись круги, два безупречных круга, и они подхватили их, ее с Хейнзом, и понесли, как двух лебедей вдоль потока. Но его белоснежная грудь была в грязных разводах ряски; а ее перепончатые лапки вязли, их затягивал муж, биржевой маклер. И она качнулась на своем табурете, и черные косы повисли, и тело стало как валик в этом линялом капоте.

Миссис Хейнз учуяла нечто, их замкнувшее кругом, ее выкинувшее вон. Она ждала, как ждут, когда же отзвучит орган, чтобы уйти из церкви, В машине, по дороге домой, на розовую виллу в полях, уж она с этим покончит, как дрозд отклевывает бабочке крылья. Десять секунд переждав, поднялась; постояла; потом – будто замер орган – протянула руку миссис Джайлз Оливер.

Но Айза, хоть ей полагалось вскочить в ту минуту, как поднялась миссис Хейнз, продолжала сидеть. Миссис Хейнз на нее вылупила гусиные глазки:

– Миссис Джайлз Оливер, сделайте такую божескую милость, заметьте мое существование…

И пришлось-таки ей встать с табурета в этом линялом капоте, с болтающимися косами.

Пойнз-Холл в свете раннего летнего утра был дом как дом. До упоминания в путеводителях такой не дотягивает. Слишком обыкновенный. Но в этом белесом доме с серой крышей – крылья выброшены под прямым углом, стоит в низине, пониже просади вязов, так что трубный дым цепляется за грачиные гнезда, – жить в этом доме многие бы не отказались. Проезжающие переговаривались: «Интересно, не собираются его продавать?» И – к шоферу: «А кто тут живет?»

Шофер не знал. Оливеры купили именье всего лет сто тому назад и не вошли в родство с Уэрингами, Элвисами, Мэннерингами или Бернетами: старинные семейства, которые, сплошь переженившись между собой, и в смерти лежат сплетясь, как корни плюща, в ограде погоста.

Всего лет сто двадцать с чем-то жили тут Оливеры. И, однако, как поднимешься по главной лестнице – сзади еще черный ход, для прислуги, – там портрет. Уже на полпути тебе в глаза блеснет парча; а как доберешься доверху, увидишь напудренное личико под огромным, жемчугами перевитым париком; в некотором роде основательницу рода. Шесть-семь спален выходят в коридор. Дворецкий был солдат; женился на хозяйкиной горничной; а под стеклом хранятся часы, отбившие некую пулю при Ватерлоо.

Было раннее утро. Трава в росе. С башенных часов упало восемь ударов. Миссис Суизин отдернула занавеску в спальне – белый ситчик, премиленький, когда смотришь из сада, зеленым исподом затенял окно. И, вцепившись старыми руками в раму, чтобы ее поднять, так она и застыла; сестра старика Оливера; вдова. Ей так всегда хотелось иметь свой дом; лучше в Кенсингтоне, нет, лучше в Кью, чтоб по паркам гулять; но на все лето она застревала тут; а когда зима туманила окна, забивала водостоки палой листвой, она говорила: «И зачем это, Барт, было строить дом в эдакой яме и фасадом на север?» На что брат отвечал: «Чтобы обойти природу, надо думать. Ведь семейную карету через эдакую грязь небось и четверней не протащишь, а?» Потом он ей рассказывал знаменитую историю про великий мороз восемнадцатого века; целый месяц дом был отрезан от мира снегом. И валились деревья. Ну и каждый год, как зима наступит, миссис Суизин ретировалась в Гастингс.

Но сейчас лето. Ее разбудили птицы. Как они поют! Атакуют зарю, как мальчишки-хористы всей ватагой налетают на торт-мороженое. От них никуда ты не денешься, и она взялась за любимое чтение – «Очерки истории»[3 - «Очерки истории цивилизации» (1920) Герберта Уэллса (1866–1946).] – и от трех часов до пяти воображала леса рододендронов на Пиккадилли; когда континент, не разделенный еще, как она понимала, Ла-Маншем, был единое целое; и населен, как она понимала, слоноподобными, но притом длинношеими, тяжкими, неповоротливыми, лающими страшилищами; динозаврами, мастодонтами, мамонтами; от которых, вероятно, она думала, дергая раму вверх, мы и произошли.

Наяву ей понадобилось пять секунд всего, но в воображенье гораздо больше – чтоб отделить Грейс с голубым фарфором на подносе от сопящего чудища, которое, пока отворялась дверь, как раз и норовило обрушить первобытное дерево на дымящийся зеленью подлесок. И, конечно, она вздрогнула, когда Грейс, стукнув подносом, сказала: «С добрым утречком, мэм». «Га-га», – добавила Грейс про себя, встретив этот раздвоенный взгляд, адресованный отчасти чудищу топей, отчасти же горничной в ситцевом платьице с беленьким фартучком.

– Как поют эти птицы! – бросила наобум миссис Суизин. Окно теперь было открыто; птицы еще как пели. Сосредоточенный дрозд скакал через лужок; в клюве у него извивалась розовая резинка. Этот дрозд снова повернул мысли миссис Суизин к реконструкции прошлого, и она умолкла; вообще миссис Суизин была склонна расширять границы мгновенья, убегая в прошлое, в будущее; или вбок, по аллеям и коридорам; но она вспомнила, как мама – вот в этой самой комнате – ей выговаривала: «Ну что ты зеваешь, Люси, муху сглотнешь…» – как часто мама ей выговаривала вот в этой самой комнате; «Да, но совсем в другой жизни», – не преминул бы напомнить брат. И она села пить утренний чай, как любая старая дама бы села, с орлиным носом, худым лицом, кольцом на пальце и прочими атрибутами бедной, но благородной старости, в ее случае пополняемыми еще и сиянием золотого крестика на груди.

После завтрака няни возят коляски вдоль берега, взад-вперед; возят и разговаривают – они не обмениваются сведениями, не делятся мыслями, они перекатывают слова, как конфетки на языке; и те, истаивая до прозрачности, обнаруживают розовость, зеленость, сладость. Вот и нынче утром: «А повариха-то им насчет спаржи возьми и скажи; она трясет колокольцем, а я: какой

костюмчик миленький, и блузочка к нему в самый раз подходит»; они возят колясочки, перекатывают слова, пока разговор со всей неуклонностью не скатится к кавалеру.

Жаль, что строитель Пойнз-Холла сунул дом в эту яму, когда за садом, за огородом – такая чудная полоса высокой земли. Природа поставляет место для дома; а человек возьми и сунь его в яму. Природа поставляет муравчатую террасу, ровно ведет полмили, пока та вдруг не свалится в пруд, весь в кувшинках. Терраса широкая, тень от самого могучего вяза привольно потягивается поперек. Прогуливайся себе взад-вперед, взад-вперед под тенью могучих вязов. Два-три стоят чуть не обнявшись, другие поодаль, врозь. Корни пробили дерн, и зеленеют меж белых ребер ручьи и прошвы травы, и весной там растут фиалки, а летом лиловеет яртышник.

Эми что-то говорила про кавалера, но Мейбл, рука на ручке коляски, вдруг обернулась – и сглотнулась конфетка.

– Ну ладно копаться, пошли-ка, что ли, а, Джордж, – кинула грубо.

Мальчик отстал и рылся в траве. Тут младшая, Каро, выпростала кулачок из-под одеяла, и плюшевый мишка вылетел из коляски. И пришлось Эми гнуться. А Джордж рылся в траве. Цветок сверкал из-под корней. Лопались пленка за пленкой. Он уже засиял нежно-желтым, тихий свет в тонкой бархотке; и свет этот залил Джорджу глазницы. И темнота налилась желтым светом, пропахшим землей и травой. А за цветком стоял вяз; вяз, трава и цветок – стали одно. Он копал, сидя на корточках, он выкопал цветок весь, целиком. Но тут – рёв, горячее сопенье, и серая грива, хлынув, скрыла цветок. Он вскочил, шлепнулся от испуга и увидел, как навстречу вышагивает, размахивая руками, востроклювое, безглазое – ужасное чудище.

– С добрым утром, сэр, – прогудел полый голос из-под бумажного клюва.

Старик на него выскочил из своего укрытия за вязом.

– Скажи-ка, скажи, Джордж; скажи: «Доброе утро вам, дедушка», – понукала Мейбл и толкала его к старику. Но Джордж стоял, разиня рот; Джордж стоял, вытаращив глаза. И мистер Оливер скомкал газету, которую на себя нацепил, и явился в натуральном виде. Очень высокий старик, сверкающие глаза, щеки в

морщинах, и голова, голая, как колено. Он повернулся.

– Ко мне! – рявкнул он. – Ко мне, зверюга ты этакая!

И Джордж повернулся; и няни повернулись, и плюшевый мишка; все повернулись и смотрели на Зораба, афганского пса, который резвился и бесился на травке.

– Ко мне! – рявкнул старик так, будто полком командовал. Чем весьма впечатлил нянь: старикашка в его-то годах, а как рыкнет, так и эдакого псину застращает. И афганец вернулся, приниженно, извиняясь. И пока он ластился к ногам своего господина, тот надел на него ошейник; силок, который мистер Оливер всегда носил с собой.

– Зверюга ты этакая… гадкая зверюга, – бормотал старик, наклоняясь. Джордж смотрел только на пса. Вздымаются и опадают волосатые бока; пена у ноздрей. И Джордж разревелся.

Старший Оливер выпрямился – вены вздулись, лицо налилось кровью; он рассердился. Невинная шутка с газетой вышла боком. Мальчишка – плакса. И мистер Оливер, кивнув, уже важно шагал прочь, на ходу разглаживая скомканную газету, и бормотал про себя, отыскивая ускользавшее место в колонке: «Плакса, плакса». А ветер играл газетной страницей; и он из-за края увидел: текучее поле, вереск и лес. В рамку – и вот вам готовый пейзаж. Будь я художник, я бы поставил мольберт здесь, на поле за вязами: готовый пейзаж. Тут ветер стих.

«Мистеру Даладье[4 - Эдуард Даладье (1884–1970) – тогдашний премьер-министр Франции.], – читал он, отыскав-таки место в колонке, – удалось удержать франк…»

Миссис Джайлз Оливер провела гребнем по спутанной пуще волос, которые, по зрелом размышлении, решила все-таки не стричь – ни за какие коврижки, ни под фокстрот, ни под мальчика; и взялась за щетку с узорной серебряной ручкой, свадебный подарок с дальним прицелом: потрясать гостиничных горничных. Взялась за нее и стояла перед трюмо, разглядывая сразу три версии тяжеловатого, но красивого лица; и еще, за зеркалом – отрезок дороги, лужок и

кроны.

Там, в зеркале, в глазах, она разглядела то, что в них посеял вчера усталый, молчаливый, романтический помещик. «Влюбилась», – сказали ей глаза. Но за зеркалом, на умывальнике, на туалетном столике, среди серебряных коробочек и зубных щеток, была любовь другая; любовь к мужу, к биржевому маклеру. «Отцу моих детей», – она прибавила, соскальзывая в клише, готовно поставляемое чтивом. Любовь скрытая – в глазах; явная – на туалетном столике. Ну а это какое чувство в ней поднялось, когда над краем зеркала, там, на воле, показалась колясочка, катящаяся через лужок; две няни и сыночек, Джордж, и он плетется сзади?

Постучала в окно узорной щеткой. Они далеко, не услышат. Гул деревьев у них в ушах; птичий гомон; их занимают разные происшествия садовой жизни, которые тут, в спальне, ей не видны, не слышны. Одни на зеленом острове, огороженном подснежниками, оправленном сборчатым шелком, они плывут у нее под окном. И Джордж плетется сзади.

Она вернулась к этим глазам в зеркале. «Влюбилась». Возможно; раз его присутствие вчера вечером так ее задело; раз слова, которые он сказал, когда подавал чашку, когда подавал ракетку, так прицепились к памяти; и протянулись между ними двоими, как проволока, и звенели, дрожали – она выуживала из дебрей зеркала слово, которое бы отражало бесконечно быструю дрожь пропеллера на аэроплане, который она вдруг увидела тогда, на заре, в Кройдоне. Быстрей, быстрей, быстрей он свистел, он шипел, он жужжал, и все взмахи стали одним взмахом, и взмыл, и дальше, прочь, прочь летел аэроплан…

– Убежать бы в край нежданный, мимо рек, лесов и гор… – бубнила она. – Край далекий, безымянный…

Рифма – «в упор». Она положила щетку. Взялась за телефонную трубку.

– Три-четыре-восемь, Пайкомб, – сказала она. – Это миссис Оливер говорит… Какая у вас сегодня рыба? Треска? Палтус? Камбала? Скат?

– …И взойти там на костер, – добубнила она. – Палтус. Филе, только чтоб вовремя к обеду, – сказала она трубке. С пером, с голубым пером… Чтоб в навозе глупый петел отыскал наш нежный пепел. – Стишки вышли так себе, не стоит даже

записывать в тетрадь, замаскированную под книгу расходов, чтобы Джайлз не догадался. «Недоделанная» – вот для нее самое слово. Чтоб хоть раз выйти из магазина, скажем, с платьем, которое радует душу; но от собственной фигуры в витрине на фоне темных рулонов брючного сукна тоже радости мало. Талия – сплошное недоразумение, руки-ноги большие, и (вот волосы только) жалкая раба моды – м-м-м, до Сафо далековато, что говорить, и, между прочим, до любого юного красавца, сияющего с журнальной обложки. Куда денешься. Дочь сэра Ричарда она и есть; племянница двух старых теток в Уимблдоне, которые, нося фамилию О’Нил, кичатся своим происхождением от королей Ирландии.

Одна дура-подхалимка как-то, замерев на пороге библиотеки, которую назвала «сердцем дома», тогда же высказалась: «После кухни библиотека – лучшая комната в доме». И, переступив порог, заключила: «Книги – зеркало души».

В данном случае – души потертой и в крапинку. Ведь в такую глушь – поездом тащиться три часа целых, а кто же отважится на столь долгий путь, не запасясь, для утоленья духовной жажды, книжицей в привокзальном киоске. Так что данное зеркало отражало и высокую душу, и душу праздную, скучливую. И никто, оглядев вороха грошовых романчиков, которые понакидали гости, не стал бы утверждать, что это зеркало отражает лишь муки королевы и юную отвагу короля Гарри.

В столь ранний час июньского утра библиотека была пуста. Миссис Джайлз пришлось наведаться на кухню. Мистер Оливер все мерил шагами аллею. Ну а миссис Суизин, конечно, была в церкви. Легкий, переменчивый ветер, который провидели метеорологи, трепля желтую шторку, встряхивал свет, встряхивал тень. Огонь в камине серел, занимался жаром, и крупный махаон бился о нижнюю створку окна; настойчиво; тук-тук-тук; так, будто, если не явится сюда человек, никогда, никогда, никогда, книги истлеют, погаснет камин, и погибнет на стекле махаон.

Возвещаемый броском своей афганской борзой, явился мистер Оливер. Он дочитал газету; был сонный; и плюхнулся в ситцем обитое кресло, с собакой у ног – афганской борзой. Носом в лапы, втянув бока, пес был – как каменный пес, пес крестоносца, и в царстве мертвых стерегущий покой своего господина. Только господин не был мертв; просто спал; и видел, как в отуманенном зеркале: он сам, молодой, в шлеме; и – каскад. Но безводный; это, серые, клубятся холмы; и в песке – обруч из ребер; бык изъеден червями на зное; и под

тенью скалы – дикари; и в руке у него пистолет. И сжалась во сне рука; наяву рука лежала на подлокотнике, жилы вздулись, но теперь всего только бурой жижей.

Дверь отворилась.

– Не помешала? – сказала Айза.

Еще как помешала – разрушила молодость, Индию. Сам виноват; дал ей так сучить нить его жизни, так тростить, тянуть. Но в общем, он был ей даже благодарен, глядя, как она ходит по комнате, за это продолженье.

У многих стариков ведь только Индия осталась – у стариков по клубам, у стариков на Джермин-стрит. А она, в своем платье в полосочку, вот, продолжает его, бормоча перед полками: «Уходи, потемнела равнина, бледный месяц несмело сверкнул…»[5 - Перси Биши Шелли. «Стансы» (пер. К. Бальмонта).]

– Я рыбу заказала, – заключила она вслух, обернувшись, – хоть насчет свежести не обещаю. Но телятина – дорого, а говядина и баранина всем уже поперек горла… Зораб, – тут она встала перед ними, – ну, как твои делишки?

Он и хвостом не повел. Этот не признавал никаких уз семейственности. Либо ластится, либо кусается. Сейчас вот уставил дикий желтый взгляд в ее взгляд. С таким – в гляделки не садись. Тут мистер Оливер вспомнил:

– Твой мальчишка – рёва, – сказал презрительно.

– Ах, – она вздохнула, оседая на подлокотник, как пленный дирижабль, на мириадах волосяных нитей пригвождаемая к семейственности. – А что такое?

– Я беру газету, – он объяснил, – вот так…

Он взял газету и, скомкав, соорудил из нее клюв.

«Вот так» он выскочил на детей из-за дерева.

– А он разревелся. Он трус, трус твой парень.

Она нахмурилась. Он не трус, ее мальчик. И ей самой противно это семейное, собственническое; материнское. И он же знает, он нарочно дразнится, старый хрыч, ее свекрушка.

Она отвела взгляд.

– «Библиотека – лучшая комната в доме», – процитировала она и побежала глазами по полкам.

«Зеркало души» – вот что такое книги. «Королева фей», «Крым» Кинглейка[6 - «Королева фей» – незаконченная поэма Эдмунда Спенсера (ок. 1552–1599); Александр Уильям Кинглейк (1809–1881) – автор обширной истории Крымских войн.], Ките и «Крейцерова соната». Да, эти – отражают. Но что? Какое лекарство есть для нее, в ее возрасте – тридцать восемь, ровесница века – в этих книгах? Она боится книг, как все его ровесники; и пушек она боится. И все же, как, озверев от зубной боли, в аптеке обрыскиваешь глазами зеленые пузырьки с желтыми сигнатурами в поисках одного, спасительного, так и она прикидывала: Ките или Шелли; Йейтс или Донн. Или, может быть, не стихи; жизнь. Чья-то жизнь. Жизнь Гарибальди. Жизнь лорда Палмерстона[7 - Генри Джон Темпл, третий виконт Палмерстон (1784–1865) не раз был премьер-министром Великобритании.]. Или вообще не нужно человека; пусть будет графство. «Достопримечательности Дарема»; «Отчеты археологического общества Ноттингема». Но нет, зачем эта реальность, лучше наука – Дарвин, Эддингтон, Джинз[8 - Артур Стенли Эддингтон (1882–1944) – английский астрофизик. Джеймс Джинз (1877–1946) – английский физики математик.].

Зубную боль никто из этих не уймет. Для ее поколения книгой стала газета; и раз свекор бросил газету, она ее подобрала и прочитала: «У лошади зеленый хвост…» – гм, нечто из области фантастики. Но дальше: «Стража в Уайтхолле» – о… уже романтично; глаза побежали по строчкам: «Кавалеристы сказали ей, что у лошади зеленый хвост; но она сочла, что это сама обыкновенная лошадь. И они ее потащили в казарму, где и швырнули на кровать. Затем один из них стал сдирать с нее платье, и она закричала и ударила его по лицу…»

Вот это уже реально; так реально, что вместо двери красного дерева она видела арку Уайтхолла; сквозь арку видела казарму; там кровать, и на кровати орала та девушка и била его по лицу, когда дверь (дверь все-таки) открылась и вошла миссис Суизин, с молотком в руке.

Она продвигалась осторожно, бочком, так, будто пол растекается под стоптанными прюнелевыми туфлями, и, поджав губы, улыбалась искоса своему брату. Никто не произносил ни слова, пока она следовала к угловому шкафу и водворяла на место молоток, который взяла без спроса; вместе – она разжала кулачок – с пригоршней гвоздей.

– Синди-Синди, – проурчал он, когда она захлопнула дверцу.

Люси, сестра, была на три года его моложе. Синди было такое уменьшительное от Люсинды. Так он в детстве ее звал, когда она топотала за ним, а он удил рыбу и в тугие букеты собирал луговые цветы, тесно-тесно их стягивая потом – раз, раз, и еще – длинной травинкой. Как-то, помнится, он дал ей самой снять рыбу с крючка. А она испугалась крови. «Ой!» – закричала. Жабры были в крови. И он проурчал: «Синди!» Призрак того дальнего лугового утра встал у нее в душе, когда она водворяла молоток в подобавшее ему место на полке; и гвозди в положенное им на другой; и затворяла шкаф, к которому, по-прежнему держа там свою рыболовную снасть, он исключительно трепетно относился.

– Я плакат прибивала к Сараю, – объяснила она, легонько потрепав его по плечу.

Слова упали как первая капля в перезвонном разливе. В первой капле уже слышишь вторую; во второй слышишь третью. И когда миссис Суизин сказала: «Я плакат прибивала к Сараю», Айза знала уже, что дальше она скажет:

– Для праздника.

А он скажет:

– Сегодня? Бог ты мой! Совсем из ума вон!

– Если будет вёдро, – продолжала миссис Суизин, – играть будут под открытым небом…

– А если пойдет дождь, – продолжил Бартоломью, – то в Сарае.

– А вот как будет? – продолжала миссис Суизин. – Вёдро или дождь?

И далее, кряду в седьмой раз, оба посмотрели в окно.

Каждое лето, теперь уже седьмое, Айза слышала одни и те же слова; про молоток и гвозди; про погоду и праздник. Каждый год они гадали, будет дождь или вёдро; и каждый год бывало – то или сё. Каждый год шел этот перезвон, только на сей раз звякнуло сквозь перезвон: «Девушка закричала и ударила его по лицу молотком».

– В прогнозе, – мистер Оливер долго листал газету, – вот, сказано: «Переменная облачность; ветер умеренный; временами дождь».

Он отложил газету, и все посмотрели в небо, гадая, послушается ли оно сейсмологов. Да, облачность, конечно, была переменная. Сад зеленый; и вот сразу он серый. Солнце выплыло – и прямо-таки ликованье охватило каждый листик, каждый цветок. Но вот уже оно убегает, печалуясь, прячет лицо, будто не в силах смотреть на людские страданья. В облаках же – ни складу ни ладу, и не понять – почему они вдруг тучнеют, почему вдруг тощают. Свой, что ли, такой закон у них, или никакому закону они не подвластны? Иное – просто седая прядка, и все. Одно, высоко-высоко, затвердело золотистым алебастром; бессмертным мрамором. А дальше – синь, чистая синь, темная синь; никогда она не прольется на нас; ускользает от определений синоптиков. Никогда не упадет на землю тенью, лучом, дождем эта синь, она просто не замечает разноцветного нашего шарика. И лист ее никакой не чует; ни поле; и никакой сад.

Глаза у миссис Суизин остекленели, когда она на нее смотрела. Наверно, подумала Айза, глаза у ней застыли, потому что она видит там Бога, Бога на троне. Но тотчас набежала на сад тень, миссис Суизин расслабила и опустила взгляд и сказала:

– Ужасно неустойчивая погода. Как бы дождя не было. Надо только молиться. – И она потеребила свой крестик.

– И захватить зонтики, – сказал ее брат.

Люси вспыхнула. Он задел ее веру. Она ему – молиться, он ей – про зонтики. Сгребла крестик в ладони. Вся сжалась; съежилась; но в следующую минуту уже кричала:

– Ах! вот и они, мои миленькие!

Колясочка катилась через лужок.

Айза тоже глянула. Ну что за ангел эта старушка! Так встречать детей; так смело восстать против непостижимой сини и против насмешки брата старыми своими руками, смеющимися глазами! Восстать против погоды, против Барта!

– Он дивно выглядит, – сказала миссис Суизин.

– Удивительно, как они поправляются, – сказала Айза.

– Он покушал за завтраком? – спросила миссис Суизин.

– Все умял до последней крошки.

– А маленькая? Сыпи нет?

Айза затрясла головой.

– Подержусь за деревяшку. – И постучала по столу.

– Барт, вот ты мне объясни, – миссис Суизин повернулась к брату. – Откуда это пошло: подержаться за дерево? Антей – ведь он же за землю держался?

Она могла бы быть, он подумал, очень умной женщиной, умей она на чем-то сосредоточиться. А тут – сплошное порхание. В одно ухо входит, в другое выходит. И все застопоривается на одном и том же вопросе, после семидесяти это часто. В ее случае обосноваться в Кенсингтоне? или в Кью? Но каждый год, как наступит зима, она ни там ни сям не обосновывается. А оседает в меблирашке в Гастингсе.

– Подержаться за дерево; подержаться за дерево; Антей, – он бормотал, стараясь связать концы. Тут пригодился бы Лемприер[9 - Джон Лемприер (1765–1824) – автор много раз переиздававшегося справочного издания «Библиотека классики».]; или энциклопедия. Да, но в каких книгах есть ответ на его вопрос – откуда в черепе у Люси, так похожем на его собственный, взялась

эта молитвенность? Не от зубов же, ногтей или волос, он думал, зависит она. Нет, скорей от силы какой-то, от свечения, ведающего дроздом и червем; псом и тюльпаном; ну а заодно им, стариком со вздутыми венами. И ее срывает с постели ни свет ни заря, ее гонит по слякоти поклоняться тому, чьим рупором служит Стретфилд. Славный малый, курит сигары в ризнице. Тоже ведь расслабиться надо, когда вечно талдычишь свои проповеди старым астматикам, вечно чинишь вечно обваливающуюся звонницу путем плакатов, прибиваемых к Сараям. Любовь, он думал, надо бы отдавать своим близким, своей плоти и крови, а они отдают ее Церкви… но тут Люси постучала пальцами по столу и сказала:

– Так откуда же пошло… откуда это пошло?

– От суеверия, – он сказал.

Она покраснела, и слышно стало, как она дышит, – опять он оскорбил ее веру. Но когда вы брат с сестрой, плоть и кровь у вас не стеной разделены, одним туманом. И ничто не могло изменить их привязанности; ни доводы; ни факты; ни истина. То, что она видела, он не видел; то, что видел он, не видела она – и так далее, ad infinitum[10 - До бесконечности (лат.).].

– Синди, – он проурчал.

И с размолвкой было покончено.

Сарай, к которому Люси пригвоздила свой плакат, был большое строенье на скотном. Был он такой же дряхлый, как церковь, даже сложен из того же камня, только звонницы не хватало. Его поставили на большие сваи из серого камня, для защиты от крыс и сырости. Те, кто бывал в Греции, всегда говорили, что Сарай напоминает храм. Те, кто в Греции не бывал – большинство, – все равно умилялись. Крыша выцвела до рыжины; а под нею был полый зал, рассеченный лучом, пропахший зерном, темный, когда закрывали дверь, но навылет простреленный светом, когда дверь оставляли открытой, и телеги, длинные, низкие, как корабли в море, рассекая зерно, не волны, вечером возвращались в вихрях соломы. И рой соломин метил их путь к Сараю.

Теперь поперек Сарая поставили скамьи. Если польет дождь, артисты будут играть в Сарае; в одном конце соорудили из досок сцену. Дождь ли, вёдро, публика все равно здесь будет пить чай. Молодые люди и девушки – Джим, Айрис, Дэвид, Джессика – уже развешивали гирлянды из белых и алых бумажных роз, оставшихся с коронации. От мякины и пыли они расчихались. Айрис повязала на лоб носовой платок; Джессика надела брючки. Парни были в рубашках. В волосах застревала солома, и ничего не стоило занозить палец.

Старый Пушок (прозвище миссис Суизин) прибивал к Сараю новый плакат. Прежний – ветром сдуло, или это местный идиот, он вечно сдирал все, что ни прибьют, содрал его и хихикал теперь над плакатом где-то в тени плетня. Работники тоже смеялись: старая Суизин, куда ни пойдет, оставляла по себе раскат смеха. При виде старушки под седеньким веющим пухом, в туфлях, до того шишковатых, в них не ноги засунуты, а канарейкины лапки, в перекрученных, сползших черных чулках, Дэвид, уж конечно, сделал большие глаза, а Джессика подмигнула ему в ответ, подавая гирлянду. Снобы, что поделать; долго проторчали в одном углу, и местный обычай на них оттиснулся трехсотлетним невыводимым тавром. Вот они и смеялись; но ее уважали. Уж если миссис Суизин жемчуг наденет, так это жемчуг, будьте уверены.

– Наш Пушок все летает, – сказал Дэвид. Сто раз она будет носиться туда-сюда, но в конце концов принесет им большой кувшин лимонада и бутерброды на блюде. Джесси держала гирлянду; он стучал молотком. В Сарай занесло курицу; потом мимо двери прошли чередой коровы; потом собака; потом пастух, Бонд; этот остановился.

Посмотрел, как молодежь розы развешивает по стропилам. Плевать ему было на всех, на простых и на благородных. Молча, неодобрительно прислонясь к косяку, он стоял, как плакучая ива стоит, склонясь над ручьем, разронявши все свои листья, и шаловливый бег воды играл у него в глазах.

– И-и-кха! – гаркнул вдруг. Это был, надо думать, коровий язык, потому что буренка, сунувшая в Сарай голову, тотчас опустила рога, хлестанула хвостом и степенно двинулась прочь. Бонд пошел следом.

– Вот в чем вопрос, – сказала миссис Суизин. Пока мистер Оливер мучил энциклопедию, под «суеверием» ища разгадку выражения «подержаться за

деревяшку», они с Айзой обсуждали рыбу; будет ли она свежая, преодолев такой путь.

Они же так далеко от моря. Миль сто, сказала миссис Суизин; нет, даже сто пятьдесят, наверно.

– Но говорят, – она продолжала, – в тихую ночь можно услышать море. После шторма, говорят, слышно, как разбиваются волны… какой прелестный рассказ, – она затуманилась. – «Услышав за полночь грохот волн, он оседлал коня и поскакал к морю». Кто это, Барт, кто это поскакал к морю?

Он уже углубился в чтение.

– Тут тебе их не принесут в ведре к самому порогу, – говорила миссис Суизин, – как, помню, в детстве, когда мы жили в таком домике прямо у моря. Омары, свежие, только что из садка. Как они в прутик вцеплялись, когда им кухарка протянет! А лосось! Можно сразу определить, что они свежие, потому что тогда у них вши на чешуйках.

Бартоломью кивнул. Совершенно верно. Он помнил тот домик у самого моря. И того омара.

С моря несли полные сети рыбы; но Айза видела – сад, переменный, как и предсказывали синоптики, на легком ветру. Снова прошли мимо дети, она постучала по стеклу, послала им воздушный поцелуй. Никто его не заметил в гуле, звоне и шелесте сада.

– Нет, правда, – она обернулась, – неужели отсюда сто миль до моря?

– Тридцать пять всего-навсего, – сказал ее свекор, будто, щелкнув извлеченной из кармана рулеткой, произвел самый точный замер.

– А кажется – больше, – сказала Айза, – как посмотришь с аллеи – земля и земля, без конца и края.

– А раньше вообще моря не было, – сказала миссис Суизин. – Никакой воды между нами и континентом. Утром в книге вычитала. На Стрэнде были

рододендроны; и мамонты на Пиккадилли.

– И мы были дикарями, – сказала Айза.

Потом она вспомнила; ей дантист рассказывал, что дикари умели делать сложные операции на мозге. У дикарей были вставные зубы. Вставные зубы изобрели – так он сказал, кажется, – во времена фараонов.

– Так мне, по крайней мере, сказал мой дантист, – заключила она.

– А ты к кому теперь ходишь? – спросила миссис Суизин.

– К той же старой парочке; Бэтти и Байте на Слоун-стрит.

– И это мистер Бэтти тебе сказал, что вставные зубы были во времена фараонов? – удивилась миссис Суизин.

– Бэтти? Нет, почему Бэтти. Это Бэйтс, – поправила Айза.

Бэтти, она вспоминала, исключительно говорил о королевской семье. Бэтти, она сообщила миссис Суизин, пользовал ее королевское высочество.

– И по часу заставлял меня дожидаться. А в детстве, сами знаете, это кажется вечностью.

– Браки между близкими родственниками, – сказала миссис Суизин, – вредны для зубов.

Барт запустил в рот палец и выдвинул вперед весь верхний ряд. Зубы были вставные. И, однако, он сказал, у Оливеров не было браков между близкими родственниками. Оливеры не могут проследить свою родословную дальше чем на две-три сотни лет. А вот Суизины могут. Суизины еще до Нормандского завоевания были.

– Суизины… – начала миссис Суизин. Но осеклась. Барт отмочит новую шуточку, насчет святых[11 - Святой Суизин (800–862). У англичан есть примета: если в его день, 15 июля, погода ясная, значит, будет ясно все последующие сорок дней.],

так нет же, такого удовольствия она ему доставлять не намерена. Две свои шуточки он уже отмочил; про зонтики – раз; и насчет суеверий.

И потому она вовремя осеклась и сказала:

– Да, так с чего у нас зашел разговор?.. – Она загибала пальцы. – Фараоны. Дантисты. Рыба… Ах да, Айза, ты говорила, что заказала рыбу; и сомневаешься, будет ли она свежая. А я сказала: «Вот в чем вопрос…»

Рыба была доставлена. Посыльный от Митчелов, держа корзину на сгибе локтя, спрыгнул с мотоцикла. Нет, какое там угощать пони сахаром, буквально слово сказать некогда, куча заказов. Надо на гору, к Бикли; потом делать крюк и – к Уэйторнам, Роддамам, Пэйминстерам, все имена, как и его собственное, занесены в кадастровую книгу. А вот кухарка – миссис Сэндс ее звали, но для старых друзей просто Трикси – в свои пятьдесят на горе никогда не бывала, и не больно хотелось.

Плюхнул на кухонный стол палтусов – филе, полупрозрачных, бескостных. Миссис Сэндс еще даже с них бумагу не посчищала, а мальчишки и след простыл, зато успел-таки шлепнуть по заду благородного рыжего кота, который, величаво восстав из своей корзины, шествовал к столу, учуяв рыбку.

Не попахивают ли чуть-чуть? Миссис Сэндс их подносила к носу. Уж как терся кот о ножку стола, о ее ногу. Ничего, она уделит кусочек Сынку – будучи Сэн-Дзеном в гостиной, на кухне он преобразовывался в Сынка. Под присмотром кота палтусы были отнесены в кладовку, уложены на поддон в этом отчасти святилище. Ибо при доме, как у всех по соседству, раньше, до Реформации, была часовня; и часовня сделалась кладовкой, претерпев изменения, как имя кота изменилось, как изменилась вера. Мастер (это он в гостиной был Мастер; а на кухне-то Барти) приведет, бывало, господ в кладовую – а миссис Сэндс там стоит, не одета. И не на окорока посмотреть, главное, водит, как свисают с крюков, или на круги масла, или для завтрашнего обеда баранину, а на погреб, куда ход из кладовки, и резная там арка. Постучишь – у одного господина был молоточек – и звук такой странный; раскатный; нет сомнения, говорит, там тайный ход и когда-то прятался кто-то. И свободно могло быть. Но, по миссис Сэндс, лучше бы не ходили они на кухню, не рассказывали бы эти сказки при девушках. Разная чушь потом лезет в глупые головы. Уже они слышали, как

покойники бочки двигают. Уже видели, как бледная леди под деревьями разгуливает. Как стемнеет, ни одна на аллею ни-ни. Кот, Сынок, чихнет, а они: «Привидение!»

Сынок получил свой кусочек филе. Затем миссис Сэндс взяла яйцо из темной корзины, где лежали яйца; некоторые с рыжим пушком на скорлупе; потом зачерпнула муки – обвалять прозрачные ломтики; потом сухарной крошки из большой глиняной миски. И потом вернулась на кухню и принялась орудовать у печи, чем-то гремя, шипя, что-то скребя и плюхая, по всему дому рассылая особенное эхо, так что в библиотеке, в гостиной, в столовой, в детской, кто бы там что ни делал, ни говорил, ни думал, все знали, каждый знал, что скоро будет завтрак, обед или ужин.

– Сэндвичи… – сказала миссис Суизин, входя на кухню. Она не добавила к сэндвичам «Сэндс», это бы вышло бестактно. «Нельзя никогда обыгрывать, – мама учила, – чужие фамилии». Но Трикси – это имя же совсем не подходит, как Сэндс подходит к этой тощей, кислой, рыжей, колючей чистюле, которая пока еще ни разу шедевра не создала, что правда, то правда; зато уж и шпильку в суп не уронит. «Что за черт?» – рыкнул Барт, выуживая шпильку из супа, в старые времена, пятнадцать лет назад, до эры Сэндс, в эпоху Джессики Пук.

Миссис Сэндс принесла хлеб; миссис Суизин принесла бекон. Одна нарезала хлеб; другая бекон. Кухаркины руки строгали – раз-раз-раз. Тогда как Люси, обнимая каравай, держала нож лезвием вверх. Почему черствый хлеб, она рассуждала, режется легче, чем свежий? И вбок скользнула: закваска – алкоголь; брожение; опьянение; Бахус; и уже под пурпурными лампионами в италийском вертограде лежала, где леживала, бывало; а миссис Сэндс меж тем слушала, как часы тикают; как муха жужжит; за котом присматривала; и досадовала, по губам было видно, а вслух ведь не выскажешь, что на кухне морока лишняя от этой блажи – гирлянды в Сарае развешивать.

– Погода не подведет? – спросила миссис Суизин, с ножом наперевес. Они на кухне приноровились уже к старухиной придури.

– На то похоже, – ответила миссис Сэндс, остро глянув в кухонное окно.

– В прошлом году подвела, – сказала миссис Суизин. – Помните, что творилось – вдруг хлынуло и мы заносили стулья? – Она опять стала резать. Потом спросила

про Билли, племянника миссис Сэндс, проходившего ученье у мясника.

– Ведет, как не положено малому, – сказала миссис Сэндс, – грубиянит хозяину.

– Ничего, все будет в порядке, – сказала миссис Суизин, имея в виду племянника, имея в виду сэндвич, который просто чудо как хорошо вышел, треугольненький, аккуратный.

– Мистер Джайлз, возможно, опоздает, – прибавила она и, довольная, положила свой сэндвич на блюдо.

Потому что муж Айзы, биржевой маклер, ехал из Лондона. А местный поезд, который подают к лондонскому, ходит шаляй-валяй, и даже если мистер Джайлз успеет в Лондоне на более ранний поезд, все равно ничего тут не рассчитаешь. А в таком случае… но каково в таком случае придется миссис Сэндс – люди опаздывают на поезда, а ей все дела побросай и толкись у плиты, чтобы еда была с пылу с жару – это только она сама знает.

– Ну вот! – сказала миссис Суизин, озирая сэндвичи, одни удачные, другие не очень. Ладно, несу их в Сарай.

А насчет лимонада – она знала без тени сомнения, что Джейн, кухонная девушка, его следом понесет.

Кэндиш задержался в столовой, чтоб поправить желтую розу. Желтые, белые, пунцовые – так он их расставил. Он любил цветы, любил их расставить, всадить острый зеленый листик, листик сердечком, чтобы ловко пришелся меж ними. Странно, как он любил цветы, притом, что картежник и пьяница. Вот все и готово – белизна, серебро, вилки, салфетки, и посредине ваза с разноцветными брызгами роз. И, все окинув последним взором, он удалился.

Две картины висели рядком напротив окна. В жизни они никогда не встречались – эта длинная дама и господин, держащий коня под уздцы. Дама была картина, даму Оливер купил, потому что ему приглянулась картина; господин же был предок. У него было имя, Он держал коня под уздцы. Он говорил художнику: «Если желаете снять с меня подобие, сударь, черт с вами, малюйте, когда

распустятся на деревьях листочки». Распустились на деревьях листочки. Тогда он сказал: «Для Колина-то сыщется местечко, с Бастером вместе?» Колин был его знаменитый пес. Но место нашлось только для Бастера. Вот досада, он, кажется, говорил, но уже не художнику, что рядом не поместился Колин, которого он собирался похоронить у себя в ногах, в своем склепе, в году примерно 1750-м, да только этот стервец преподобный, как бишь его, согласия не дал.

Он был вечная тема для разговоров, предок. А дама была картина. В желтой робе, томно склонясь к колонне, с серебряной стрелою в руке, с пером в волосах, она поводила взглядом вверх, вниз, к прямизне от изгиба, сквозь зеленые прошвы и тень серебра, сквозь сумрак и розовость, к тишине. В столовой было пусто.

Пусто, пусто, пусто; тихо, тихо, тихо. Комната стала раковиной и пела о том, что было в довременье; и в самом центре дома стояла ваза, алебастровая, прохладная, гладкая, в себя вобравшая самую суть пустоты, тишины.

По ту сторону коридора открылась дверь. Один голос, другой, третий выплеснулись в коридор; хриплый – голос Барта; дряблый – Люси; и матовый голос Айзы. Голоса, налетая друг на друга, сталкиваясь, сшибаясь, долетали из коридора, обранивая клочья фраз: «…поезд опоздает»; «не остыло бы»; «мы не будем, нет, Кэндиш, мы не будем ждать».

Вылившись из библиотеки, голоса в коридоре запнулись. Наткнулись, видимо, на препятствие; на скалу. Неужели никак невозможно даже здесь, вдалеке от всего, побыть одним? Это была скала. В нее уперлись, потом ее обогнули. Досадно, да, но что поделать. Гости так гости. Да, немого досадно, но даже приятно было, выйдя из библиотеки, наткнуться на миссис Манрезу и незнакомого молодого человека – волосы цвета пакли, вытянутое лицо. Бежать было некуда; встреча была неизбежна. Их не ждали, не приглашали, да, но их сманил с шоссе тот же инстинкт, что сбивает в стадо овец и коров, и они пришли. Но у них с собою корзина еды. Вот.

– Просто не могли устоять, как увидели на указателе вашу фамилию, – распиналась миссис Манреза. – А это мой приятель, Уильям Додж. Собрались в одиночестве посидеть, в чистом поле. Ну и я говорю: почему бы нам не

попросить у друзей дорогих – когда указатель увидела, – не попросить ли убежища? Место за столом – больше нам ничего не надо. Жратва у нас есть. И стаканы. Нам надо только… – общества, очевидно, слиться с себе подобными.

И она помахала рукой, на которой была перчатка, но под перчаткой перстни угадывались, помахала старому мистеру Оливеру.

Он низко склонился к ее руке; столетье назад он бы руку поцеловал. К потоку приветствий, протестов, извинений и снова приветствий подмешалась струйка молчанья, которую, разглядывая молодого человека, подбавила Айза. Конечно, он хорошего круга; по носкам и брюкам видно; интеллигентный – галстук в крапинку, расстегнутая жилетка; городской, кабинетный – такой нездоровый, глинистый цвет лица; страшно нервный, так задергался, когда его вдруг представили, и адски, кошмарно суетный – презирает щебет миссис Манрезы, а сам же с нею прикатил.

Айзу все это не очень грело, но – ей было любопытно. Миссис Манреза прибавила для порядка: «Он художник», Уильям Додж поправил: «Канцелярская крыса» – и что-то он промямлил насчет образования, не то про налоги, и она нащупала узел, так туго стянутый, что чуть не перекосилось и уж точно дергалось его лицо.

И они пошли к столу, и миссис Манреза буквально лопалась от восторга, что так ловко, палец о палец не ударив, сумела преодолеть небольшой общественный кризис – и вот вам, пожалуйста, – два лишних прибора на столе. Недаром она доверялась человеческой природе, верно? Все ведь мы из плоти и крови? И зачем огород городить, если все мы из плоти и крови под нашей кожей – мужчины и женщины! Но она предпочитала мужчин – это очень было заметно.

– А зачем тогда тебе эти перстни и эти ногти, эта просто обворожительная соломенная шляпка? – спрашивала Айза, молча адресуясь к миссис Манрезе, своим молчаньем внося, таким образом, существенный вклад в беседу. Шляпка, перстни, ногти, как розы пунцовые, гладкие, как ракушки, были выставлены на обозрение. Но не ее жизнь. Тут только ошметки достались им всем – за исключением, видимо, Уильяма Доджа, которого она называла Биллом на публике, – знак, наверно, того, что он знал побольше их всех. Кое-что из того, что он знал, – она бродит ночами в шелковой пижаме по саду, у нее громкоговоритель, она слушает джаз, есть бар, – они тоже знали, конечно. Но ничего интимного; никаких прямых биографических фактов.

Она родилась, но это только сплетни, в Тасмании; ее дед был вывезен за какой-то викторианский скандал; неблаговидное что-то; присвоение казенных средств, что ли? Но повесть, в тот единственный раз, когда ее слышала Айза, не двинулась дальше этого «вывезен», ибо муж общительной дамы – миссис Бленкоу, на мызе, – придрался к неточности и сказал, что скорей он был «выслан», но и это не то, слово вертится на языке, никак не поймать. И рассказ сразу как-то увял. Иногда она ссылалась на какого-то своего дядю, епископа. Но он, кажется, только в колониях считался епископом. Очень уж легко все прощают и забывают в этих колониях. Еще говорили, что ее алмазы-рубины собственными руками выкопал из-под земли ее «муж», но только не Ралф Манреза. Ралф, еврей, стал выглядеть типичнейшим сельским аристократом, когда ведущие городские компании – это точно – его буквально озолотили; и у них нет детей. Но когда на троне Георг VI[12 - Георг VI (1895–1952) – английский король с 1936 г.], как-то немодно, пошло, траченными молью мехами попахивает это занятие, и камеями, бисером, писчей бумагой с черным обрезом, – так вот рыться в чужом грязном белье, да?

– Все что мне нужно, – и миссис Манреза состроила глазки Кэндишу, будто он настоящий мужчина, не чучело, – так это штопор.

У нее бутылка шампанского, а штопора нет.

– Видишь, Билл, – она сказала, вывернув большой палец (открывала бутылку), – эти портреты, а? Говорила я тебе, что получишь удовольствие?

Вульгарная, да, эти жесты, и вообще, явная брючница, и – так разрядиться для пикника! Но какое нужное, ценное, во всяком случае, свойство – ведь каждый, едва она рот откроет, сразу чувствует: «Вот, она сказала, а я – нет, и почему не я» – и, воспользовавшись брешью в декоруме, в которую хлынула свежесть, уже веселым дельфином кувыркается у ледокола в кильватере И она же восстановила для старого Бартоломью те пряные острова, его юность, не так ли?

– Я ему говорила, – теперь она уже Барту строила глазки, – что он и смотреть не захочет на наши вещи (которых у них буквально пруд пруди) после ваших. И я ему пообещала, что вы ему покажете эту… эту… – Тут вскипело шампанское, и она настояла, чтоб Барт себе первому наполнил бокал. – Ну, по чему еще вы, образованные господа, с ума-то сходите? Ну, арку? Нормандскую? Саксонскую? Кто тут у нас недавно из школы? Миссис Джайлз?

Теперь она глазки строила Изабелле, одаряя ее юностью; но, когда с женщинами разговаривала, она застилала взгляд, чтоб эти, участницы сговора, там чего лишнего не прочитали.

Так, гол за голом – шампанское, глазки – она выигрывала, утверждалась: дитя природы, вихрем ворвавшееся в эту… – она усмехалась тайком – тихую заводь; после Лондона просто комическую; но кое в чем и получше Лондона. И она предлагала им образцы своей жизни на пробу; немножечко сплетен; чушь сплошную; но она ни на что другое и не замахивалась; как в прошлый вторник сидела с таким-то, с таким-то; и после фамилии вдруг всплывало имя; вот уже вспархивало уменьшительное; и он сказал – кто я такая? мне все можно выложить! – и «по строгому секрету, мне бы не надо болтать» она все им выбалтывала. И они навостряли уши. Потом – легким жестом руки, будто швырнув за борт эту дурацкую, гадкую лондонскую жизнь, – бах! – она вскрикнула: «Вот! И что я перво-наперво делаю, когда сюда приезжаю?» Они выехали вчера вечером, катили по июньским лугам, с Биллом, само собой, парочкой, бросив Лондон, который вдруг просто осточертел, чтоб просто посидеть-пообедать. «Ну и что я делаю? Можно я скажу, да? Вы разрешаете, миссис Суизин? Ах, в этом доме все можно сказать. Я рассупониваюсь (уперла руки в боки – статная дама) и катаюсь по траве. Катаюсь! Вы не поверите…» И она от души расхохоталась. Наплевала на фигуру и почувствовала себя свободной!

Да, это правда, это без дураков, думала Айза. Конечно правда. И эта ее любовь к природе. Часто, когда Ралфа Манрезу не пускали дела, она одна сюда мчала; в потрепанной шляпе; учила деревенских женщин не мариновать и закатывать, нет; но как плести из цветной соломки миленькие такие корзиночки; им тоже надо от жизни получать удовольствие, она объяснила. Она сама, например, как ни пройдете мимо, услышите – напевает среди георгин: «Тра-ля-ля-ля!»

Нет, просто отличная тетка. Барт при ней даже помолодел. Поднимая бокал, уголком глаза он заметил белый промельк в саду. Кто-то прошел под окнами.

Судомойка, пока посуду не вынесли, остужала щеки у пруда с кувшинками.

Тут всегда были кувшинки, ветром посеянные, и плавали, красные, белые, на зеленых лиственных блюдцах. Вода за столетья осела в своей лохани и лежала

теперь слоем в четыре-пять метров на илистой черной подушке. Под зеленой плитой ряски, застекленные в собственном царстве, плыли рыбы – золотые, в белую крапинку, черно-полосатые, серебряные. Молча проплывут по своему водному царству, замрут на синем отражении неба или бесшумно метнутся к краю, где дрожит трава и ложится на воду мохнатой кивающей тенью. Там, на водной панели, оставляют тоненькие следы пауки. Семечко упадет и уходит спиралью вниз; упадет навстречу своему отражению лепесток, сольется с ним, взбухнет, тонет. И тогда флотилия этих живых корабликов замрет; зависнет; во всем снаряженье; в броне; и скроется с волнистым взблеском.

Вот там, в самой середке, утопилась та леди. Десять лет назад осушали пруд и нашли берцовую кость. Правда, кость, к сожаленью, оказалась овцы, не леди. А не бывает у овец привидений, потому что нету душ у овец. Но, не сдавались слуги, ходит привидение, ходит; а привидение – чье ж, как не леди; которая утопилась от несчастной любви. И кто ж после этого пойдет ночью к пруду с кувшинками; нет, только сейчас, когда солнце светит и господа еще не встали из-за стола.

Утонул лепесток; судомойка побежала на кухню; Бартоломью отхлебнул свое вино. Он был счастлив, как мальчик; безответствен, как старик; странное, дивное ощущение. Пошарив в памяти, что бы такое сказать этой очаровательной даме, он брякнул первое, что пришло на ум; изложил историю про овечью берцовую кость. «Слугам, – он сказал, – нужны привидения». Судомойкам нужны леди, утопившиеся от несчастной любви.

– Ах, и мне, и мне! – крикнула миссис Манреза, дитя природы. Ни с того ни с сего стала важная, как сова. Да, когда Ралф был на войне, она знала, знала, – она говорила, для пущей убедительности отщипывая от хлеба кусочек, – что он не погиб, не то бы он ей явился, «где бы я ни была, чем бы ни занималась», – и она взмахнула руками, расплескивая с пальцев бриллиантовый блеск.

– Я этого не понимаю, – сказала миссис Суизин, покачав головой.

– Ну конечно, – миссис Манреза залилась смехом. – И никто из вас не поймет. Видите ли, я на уровне… – она выждала, пока ретируется Кэндиш, – ваших слуг. Я не такая взрослая, как вы все.

И нахохлилась, гордясь своей подростковостью. Придуривалась? Или нет? Струйка чувства в ней пробивалась сквозь ил. У них он выложен плитами мрамора. Для них овечья кость – это овечья кость, не останки бедной благородной утопленницы.

– Ну а вы к какому лагерю принадлежите? – Бартоломью повернулся к неизвестному юнцу. – Взрослых или не взрослых?

Изабелла открыла рот, в надежде, что он раскроет свой, дав ей шанс составить о нем впечатление. Но он только глаза таращил.

– Прошу прощенья, сэр? – произнес-таки наконец. Все на него уставились. – Я вот на портреты смотрел.

Портрет ни на кого не смотрел. Портрет их вел в тишину, по тропам молчания.

Миссис Суизин его нарушила.

– Миссис Манреза, хочу попросить вас об одном одолжении. Если вечером будет крайняя надобность, вы споете?

Вечером? Миссис Манреза пришла в ужас. Праздник! Она понятия не имела, что это сегодня! Неужели же они бы сюда сунулись, знай они, что это сегодня! И разумеется, опять начался перезвон. Айза слышала первый колокол; и второй; и третий – если дождь, будем в Сарае; если вёдро – на воле. Но что будет, дождь или вёдро? И все посмотрели в окно. И тут дверь отворилась. И Кэндиш возвестил, что мистер Джайлз приехали. Мистер Джайлз сию минуту сойдут к столу.

Джайлз приехал. Увидел у входа большой серебристый автомобиль с вензелем «Р.М.», так выкрученным, что издали сходил за корону. Гости, он заключил, припарковываясь сзади; и поднялся к себе переодеться. Призрак условностей вынырнул из глубин, как под давлением чувства выступают слезы или румянец; так этот автомобиль надавил на какую-то клавишу. Надо переодеться. И в столовую он вошел, одевшись, как на крикет – белые штаны, синий пиджак с медными пуговицами; хотя сам же бесился. Разве еще сегодня, в поезде, он не

прочитал в газете, что шестнадцать человек убиты, остальные захвачены в плен прямо там, за бухтой, на плоской земле, их отделяющей от континента? И вот вам, пожалуйста, – переоделся. А все из-за тети Люси – увидела его, ручкой машет – из-за нее он переоделся. Он на нее повесил свою досаду, как вешают пальто на крюк, бездумно, привычно. Тете Люси – ей-то что, дуре; вечно, с тех пор как после колледжа он выбрал свою лямку, она высказывает недоумение по поводу некоторых, жизнь кладущих на то, чтоб покупать-продавать – плуги? или это бисер? или акции? – дикарям, которым надо зачем-то – будто они и голые не хороши? – одеваться и жить, как живут англичане. Легкомысленный, злой даже, взгляд на проблему, которая – у него же ни талантов особых не было, ни капитала, и он без памяти влюбился в свою жену – он ей кивнул через стол – терзает его уже десять лет. Будь у него выбор – тоже небось занялся бы сельским хозяйством. Но не было выбора. И так – одно цепляется за другое; все вместе на тебя давит, плющит; держит, как рыбу в воде. И он приехал на выходные и переоделся к обеду.

– Добрый день, – сказал он всем за столом; и кивнул незнакомому гостю; настроился против него и занялся своим палтусом.

Он был совершенно, ну совершенно во вкусе миссис Манрезы. Волосы вьются; подбородок не скошенный, как с подбородками часто, нет, абсолютно твердый; нос прямой, пусть чуточку и коротковат; глаза, при таких волосах, конечно же, голубые; и, наконец, для полноты картины, что-то такое дикое, неукротимое было у него во взгляде, что миссис Манреза даже в свои сорок пять подготовила старые орудия к бою.

«Мой муж, – Изабелла думала, пока они друг другу кивали через пестрый букет, – отец моих детей». И – сработало, испытанное клише; гордость – прихлынула к сердцу; нежность; и снова гордость – за себя, которую он избрал. И как это странно, после утреннего стоянья у зеркала, после стрелы Амура, которой запустил в нее вчера вечером этот помещик, – и вдруг теперь ощутить, когда он вошел не хлыщом городским, спортсменом, – такое сильное чувство любви и ненависти.

Они познакомились в Шотландии; рыбу удили – она с одной скалы, он с другой. У нее запуталась леска; она плюнула на все это предприятие и стала смотреть, как он, во вспененной воде по колено, целился, целился, целился – пока, серебряным слитком, изогнутым посредине, подпрыгнула семга, попалась, и – Айза полюбила его.

Бартоломью тоже его любил; и заметил, что он сердится – из-за чего? Но помнил – у них гости. Семья – не семья при чужих. Надо пообстоятельней им рассказать про портреты, которые незнакомый молодой человек рассматривал, когда вошел Джайлз.

– Это, – он показал на мужчину с конем, – мой предок. У него был пес. Знаменитый пес. Оставил свой след в истории. И хозяин распорядился в письменном виде, чтобы пса этого похоронили с ним вместе.

Все разглядывали портрет.

– Я так и слышу, – Люси прервала молчанье, – как он говорит: нарисуйте мою собаку.

– Ну а лошадь, насчет лошади что? – спросила миссис Манреза.

– Лошадь, – Бартоломью нацепил очки. Оглядел Бастера. Задние ноги явно подкачали.

А Уильям Додж все смотрел и смотрел на даму.

– А-а, – сказал Бартоломью, который купил эту картину, потому что картина ему понравилась, – да вы, батенька, художник.

И снова Додж отпирался, за полчаса второй раз, отметила Айза.

Зачем роскошной бабе, как эта Манреза, таскать за собой этого недоноска? – спрашивал себя Джайлз. И молчаньем внес свой вклад в разговор – то есть Додж тряхнул головой:

– Мне нравится этот портрет.

Больше ничего он не мог из себя выдавить.

– И вы совершенно правы, – сказал Бартоломью. – Один человек – ах, ну как его? – связанный с каким-то там учреждением, ну, который советы дает,

бесплатно, потомкам, как мы, вырождающимся потомкам, так он сказал… сказал… – и Бартоломью умолк. Все смотрели на даму. А она смотрела куда-то мимо них, ни на что не смотрела. И по зеленым просекам их вела в самую глушь тишины.

– Кажется, это сэр Джошуа?[13 - Сэр Джошуа Рейнолдс (1723–1792) – великий английский художник.] – Миссис Манреза резко сломала молчанье.

– Нет-нет, – Додж сказал быстро, но шепотом.

И чего он боится? – спрашивала себя Айза. Бедняга. Стесняется собственных вкусов – а сама она мужа не боится? Не записывает стихи в тетрадь, замаскированную под книгу расходов, чтоб Джайлз не догадался? Она посмотрела на Джайлза.

Он разделался с палтусом; ел быстро, чтоб остальных не задерживать. Подали вишневый пирог. Миссис Манреза считала косточки.

– Куколка, балетница, воображала, сплетница, куколка, балетница, воображала… это я! – крикнула она, страшно довольная, что вишневый пирог дал ей возможность продемонстрировать, какое она истинное дитя природы.

– Вы и в это, – старик галантно ее поддел, – тоже верите?

– Ах, ну как же, ну конечно я верю! – Она снова чувствовала себя как рыба в воде. Отличная тетка. И всем стало хорошо; и можно, резвясь у нее в кильватере, оставлять серебристые, темные тени, уводящие в самую глушь тишины.

– Мой покойный отец, – зашептал Додж Айзе, которая села рядом, – любил живопись.

– Ой, а у меня! – выпалила Айза. Быстро, сбивчиво она пояснила. В детстве, когда болела коклюшем, ее оставляли у дяди, он был духовная особа; ходил в скуфье; и ничего абсолютно не делал; даже проповеди не читал; но сочинял стихи, бродил по саду и вслух их выкрикивал.

– Все его сумасшедшим считали, – она сказала, – а я… – И осеклась.

– Балетница, воображала, сплетница, куколка… Выходит, – сказал старый Бартоломью и положил ложку, – выходит, что я куколка. Кофе в саду будем пить? – и он встал.

Айза волокла свой шезлонг по гравию и бубнила: «В какие дебри шелкового дня, в какую чащу, всхлестнутую ветром – нам суждено бежать? Или качаться от звезды к звезде, плясать в тумане лунном? Или…»

Она несла шезлонг под неправильным углом. И вывихнулась рама.

– Песни моего любимого дядюшки? – Уильям Додж услышал ее бормотанье. Он отобрал у нее шезлонг и вправил ему сустав.

Она покраснела, будто напевала в пустой комнате, и кто-то вышел вдруг из-за шторы.

– А вы, когда что-то руками делаете, не бубните разную чушь? – выговорила кое-как. Но что он своими руками будет делать, такими белыми, утонченными?

Джайлз пошел в дом, принес еще стулья и поставил полукругом, так чтоб все наслаждались видом, защищенные старой стеной от ветра. Игрою случая стену поставили некогда как продолжение дома, возможно, с намерением протянуть второе крыло туда, на террасу, на солнышко. Но не хватило средств; план забросили, а стена осталась, просто стена. Потом, уже следующее поколение посадило абрикосовые деревья, и они в свое время широко раскинули ветки над красным выцветшим кирпичом. Миссис Сэндс говорила, что хороший тот год, когда из абрикосов этих шесть банок варенья наваришь, – так к столу не подашь, нет, кислые больно. Может, три абрикоса и стоили, чтоб их в кисею обмотать. Но они были такие красивые голенькие, одна щечка розовая, другая зеленая, и миссис Суизин их голыми и оставляла, и осы в них буровили дыры.

Земля тут так поднимается, что, согласно путеводителю Фиггиса (1833), «открыт прекрасный вид на округу… шпиль Болниминстерского собора, Раф-Нортонские леса, и левей, на возвышенности, Каприз Хогбена, названный так потому…».

Путеводитель все еще соответствовал действительности. Соответствовал в 1833-м, и в 1939-м. Ни одного дома не выстроили; никакой город не возник. Хогбеновский Каприз все так же торчит; и сама плоская, раскроенная на участки земля изменилась только в одном – плуг в какой-то мере заменен тракторами. И нет лошадей; но коровы остались. Будь сейчас с нами Фиггис, Фиггис бы все повторил слово в слово. Так всегда они говорили, сидя тут летом за кофе, когда у них были гости. Когда были одни, ничего не говорили. Просто смотрели; смотрели на то, что наизусть знали, смотрели – вдруг сегодня что-то изменится. Обычно все оставалось по-прежнему.

– Оттого этот вид так печален, – говорила миссис Суизин, погружаясь в шезлонг, который принес ей Джайлз, – и так прекрасен. И все это будет тут, – она кивнула дымчатой дали полей, – когда нас не станет.

Свой шезлонг Джайлз поставил рывком. Только так он мог выказать свое раздражение, свою злость – сидят, разглядывают виды, прихлебывая кофе со сливками, шляпы несчастные, когда вся Европа – там – ощетинилась, как… он был не мастер метафор. Лишь бедное слово «еж» отвечало его видению Европы, ощетинившей пушки, поднявшей в небо аэропланы. В любую секунду пушки могут вспахать эту землю; аэропланы в куски разнесут Болниминстер, а от всех их Капризов мокрое место оставят. Он и сам любит этот вид. А ругает тетю Люси, разглядывающую виды, вместо того… вместо чего? Что ей еще прикажете делать на этом свете? И так уже – вышла за помещика, он теперь умер; родила двоих детей, один в Канаде, другой в Бирмингеме, женат. Отца-то он любит, отец – вне критики; ну а у него самого – одно цепляется за другое; и вот – сидит с этими шляпами, виды разглядывает.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (http://www.litres.ru/virdzhiniya-vulf/mezhdu-aktov/?lfrom=201227127) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или

Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

notes

Примечания

1

Первая строка из первого стихотворения цикла «Еврейские мелодии» Дж. Г. Байрона (пер. С. Маршака).

2

Стихотворение Дж. Г. Байрона (пер. С. Маршака).

3

«Очерки истории цивилизации» (1920) Герберта Уэллса (1866–1946).

4

Эдуард Даладье (1884–1970) – тогдашний премьер-министр Франции.

5

Перси Биши Шелли. «Стансы» (пер. К. Бальмонта).

6

«Королева фей» – незаконченная поэма Эдмунда Спенсера (ок. 1552–1599); Александр Уильям Кинглейк (1809–1881) – автор обширной истории Крымских войн.

7

Генри Джон Темпл, третий виконт Палмерстон (1784–1865) не раз был премьер-министром Великобритании.

8

Артур Стенли Эддингтон (1882–1944) – английский астрофизик. Джеймс Джинз (1877–1946) – английский физики математик.

9

Джон Лемприер (1765–1824) – автор много раз переиздававшегося справочного издания «Библиотека классики».

10

До бесконечности (лат.).

11

Святой Суизин (800–862). У англичан есть примета: если в его день, 15 июля, погода ясная, значит, будет ясно все последующие сорок дней.

12

Георг VI (1895–1952) – английский король с 1936 г.

13

Сэр Джошуа Рейнолдс (1723–1792) – великий английский художник.

Купить: https://tellnovel.com/virdzhiniya-vulf/mezhdu-aktov-kupit

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити